

В ВАГОНЕ ПОЕЗДА

Это было в декабре 1929 года. Войдя в купе мягкого вагона Москва—Нижний Новгород, я увидел девушку, лицо которой показалось мне знакомым.

— Вы меня не узнаете? — немного стеснясь, спросила она. И вот тут, когда облик соединился с голосом, я вспомнил, что нас год назад познакомили в Харькове, в летнем театре «Тиволи», где я тогда гастроллировал. Эта девушка всегда сидела в первых рядах, а в антракте и по окончании приходила за кулисы. Мне представили ее как молодую начинающую певицу. Выступает в клубах, хотела быть актрисой, пробовала себя в драматическом театре, затем в оперетте, но в песне чувствовала себя увереннее всего.

В «Тиволи» в одной программе со мной выступала тогда одна из талантливейших на Украине исполнительниц жанровых песен Ядвига Махина. Так вот, молодая певица Клавдия Шульженко, сидящая сейчас со мной в купе, чуть ли не каждый день приходила слушать Махину, от которой была в восторге, и говорила, что у Махиной есть чему поучиться...

— Вот видите, Володя, как бывает, — мы были сверстники и могли обходиться без отчества, — еще недавно я приходила в «Тиволи», чтобы слушать мастеров и учиться у них, а теперь мы с вами будем выступать целый месяц в одной программе.

Дорога пролетела незаметно — мы то весело болтали, смеялись и дурачились, то обсуждали наши эстрадные дела, то рассказывали друг другу случаи из своей жизни. Шульженко просила подробно рассказать о творчестве Изы Кремер, Александра Вертинского, Натальи Тамары: «Ведь вам, Володя, повезло — вы выступали с ними и в Одессе, и в Москве».

Заметив на ее руке обручальное кольцо, я вопросительно взглянул на Шульженко. Чуть смутившись, она пояснила, что за два дня до отъезда из Харькова была помолвлена: «Свадьба весной будущего года. Приезжайте, будете дорогим гостем».

А я вместо того, чтобы поздравить, поблагодарить, брякнул вдруг, все еще продолжая задорный, шутиливый тон нашего разговора:

— На свадьбу приеду обязательно, но только не в качестве гостя!

— А в качестве кого же?

— В качестве жениха!

Оценив всю невероятность и нелепость этой импровизации, мы расхохотались.

В Нижнем Новгороде нас закрутила предпремьерная суэта. И, признаюсь, я немного волновался за молодую певицу — ведь на афише мюзик-холла стояли знаменитые имена: уникального жонглера Максимилиана Труцци, единственных в то время исполнительниц русских частушек Веры Глебовой и Марии Дарской, Георгия Немчинского, впервые выступавшего на эстраде с кинофельетоном (позднее это открытие использовал в своем фельетоне «Разговор с Керенским» Н. Смирнов-Сокольский), кроме того, Немчинский блестяще владел искусством моментального стихотворения — буриме. Конферируя Михаил Гаркави.

Но Шульженко не растерялась среди этих мастеров. Непосредственность, обаяние, особая мягкость, доверительный тон, с которым она исполняла свои незатейливые песенки «Папиросница и матрос», «Чикитта», «На санках», покорили сердца слушателей. Этот успех многое для нее значил — он открывал ей дорогу на главные эстрады страны. Меня же особенно поразило ее преобразование. Я заметил, что ей свойственны грусть и меланхолия, мечтательная задумчи-

вость. А на сцене вдруг появилась этакая современная спортивная девушка, бодрая, задорная. Костюм подчеркивал ее молодость, но и контрастировал с ее поведением: она лихо и лукаво пела о том, как мчались с горки санки и как она соглашалась отдать сердце юноше, шепчущему в этом немислимом полете слова любви, — а на сцене стояло юное существо, одетое в строгое черное бархатное платье, не закрывавшее ног, белый воротник и большие белые манжеты оттеняли ее юность и придавали особую мягкость облику.

В моем репертуаре для этих гастролей, кроме пародии «Эстрада в тупике», «Ловите, ловите жар-птицу», был припасен новый, никем не исполняемый на эстраде номер «Эволюция танцев». Этот номер был пародией на мещанские нравы, в каждом сопровождавшемся куплетом танце, будь то вальс, танго, краковяк или чарльстон, создавался образ представителя той или иной социальной среды. Так, например, в старинном вальсе у меня кружились семинарист и генеральская дочка. Но в финале, как бы утверждая ритмы новой жизни, появилась залихватское «Яблочко».

Гастроли подходили к концу. В сиянии успеха, в самом праздничном настроении и пришли все участники программы на вечер в ресторан «Россия», чтобы встретить Новый, 1930 год. Мы с Шульженко сидели за столом рядом, и среди тостов и речей, среди шуток и смеха я вдруг заметил, что обручальное кольцо с ее руки исчезло.

— Что случилось? — спросил я.

— Володя! О покойниках не надо говорить, — сказала она с тяжелым вздохом.

— Он умер? — спросил я со страхом.

— Для меня... — последовал ответ.



СЛУЧАЙНО

В Москве мы проводим два дня вместе, а потом я еду на гастроли в Харьковский цирк. Придя проводить меня на вокзал, Шульженко принесла объемистый сверток.

— Это валенки. Пожалуйста, передайте их отцу. Мы живем на Москалевке. Вот адрес. — И, понимая некоторую необычность просьбы, добавила: — Так, Володя, вам будет легко познакомиться с родителями, они у меня простые, но сердечные и гостеприимные люди.

В Харькове, чтобы понравиться и произвести впечатление, я надел на себя все самое дорогое, что у меня было: шубу «на лире», как называлась тогда меховая подкладка, шапку-гоголевку и, прихватив спасительные валенки, пошел на Москалевку. Москалевка для Харькова — это почти то же, что Молдаванка для Одессы. В письме, которое я вскоре получил от Шульженко, она писала, что отец, обратив внимание на шубу, на шапку и особенно — на хвостик меховой подкладки, сразу по-

нял, что это — жених. И одобрил выбор.

И полетели письма из Харькова, а потом и из Ростова, из Одессы в Ленинград, где выступала Шульженко, и обратно. Письма, в которых были воспоминания-напоминания: «Помните, — писала Шульженко, — как в Нижнем мы дурили вместе по целым дням!». Письма, в которых были стихи: «Счастья если бы мне хоть немножечко... И, наконец, самое важное, самое главное: ... «Я посылаю вашей маме письмо, передайте ей, пожалуйста. Выезжайте из Одессы 11 апреля и обязательно встречайте меня, а потом мы пошлем вашей маме приглашительную телеграмму, и будет все в порядке».

Дрожащими от счастья руками я передаю маме письмо и вдруг слышу ужасное, безнадежное: «Только через мой труп!»

Кажется, бог, которому я в свое время пропел в синагоге столько хвалебных песен, собирался помешать моему счастью. Как раз за полгода до моей встречи с Шульжен-

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

ко мой старший брат куплетист Эмиль Кемпер женился на артистке Марии Ивановне Дарской. Со слезами на глазах мать воскликнула: «Сначала Эмиль! А теперь отступает от законов предков и младший сын. 13-й!».

Собрав всех родственников, мать держала перед ними речь, полную обиды, горечи, и закончила словами:

— Что же это получается? С одной стороны Ивановна, с другой стороны Ивановна, а я — мадам Кемпер — в середине! Что скажут наши предки?!

Не дожидаясь ответа предков, она запретила мне ехать в Харьков. А я, маменькин сынок, не посмел ослушаться. Да нет, я слишком любил мать, слишком много у нас с ней было связано, я не мог допустить, чтобы она умирала от горя. И вот я сижу в Одессе, страдаю, люблю и сердцем рвусь к Шульженко и не знаю, что ей написать, как оправдаться. И получаю роковое письмо: «Вы сами разрушили нашу мечту».

Но бог, уж не знаю чей, сжалился надо мной: Харьковский Посредрабис прислал мне вдруг приглашение выступать в майских праздничных концертах, в которых принимала участие и Клавдия Ивановна. И вот мы вновь выступаем вместе. Она меня не замечает, а в антракте подводит ко мне какого-то человека и представляет: «Знакомьтесь, мой жених». Подавленный, едва скрывая отчаяние, я проборотал какие-то слова, а сам решил: сейчас же брошу все и уеду в Одессу, видеть этого я не в силах. Но все же отработал свой номер и уже собирался уходить, как снова появилась Шульженко с женихом в одной руке и с театральным чемоданчиком в другой — попрощаться.

Я вырвал у нее из рук этот чемоданчик и швырнул его в дальний угол, жених хотел схватить меня за грудки, тог-

да я выхватил браунинг (у меня было право на ношение оружия еще со времен гражданской войны). Нет, я не собирался его убивать, просто это было рефлекторное движение. Но жених, бросив невесту, которая собирала содержимое своего чемоданчика, исчез в мгновение ока.

Я уехал в Одессу. И если до тех пор во мне все же жила надежда, то теперь я понимал — все кончено. Приближалась весна, Одесса расцветала, но все это уже не радовало меня. Я снова страдал — не ел, не пил, худел, бледнел и молчал. Мать, видя, как мается ее любимый сын, не выдерживала, старалась меня разговорить. А потом изрекла:

— Володюню! — так она меня называла, — запомни: тянуться надо к тому, кто тянется к тебе!..

Несмотря на всю туманность этой фразы, понял, что она готова сдаться. Но что мне теперь ее согласие!..

Через десять дней, двадцать второго апреля, я получил письмо. Уж не коварное ли это приглашение на чужую свадьбу? Но письмо было полно уныния, пессимизма, обреченности и стихов. ...Телеграмма в Харьков. Встреча на вокзале. Бракосочетание и четверть века вместе.

А летом 1930 года наши совместные концерты проходили в моей родной Одессе. Я очень хотел, чтобы эти придиричливые, требовательные и, я бы сказал, беспощадные одеситы приняли, оценили и полюбили еще не известную им певицу. А в Одессе в те годы блистала Ядвига Махина, большим успехом пользовались Зоя Санович, Тамара Стрюкова, Меда Адем, Нина Ронская. Попробуйте-ка посостязаться с ними! Но одеситы не подкачали, они проявили и чутье, и вкус — они признали Клавдию Шульженко.

Но меня больше всего интересовало мнение одного зрителя, присутствовавшего

на концерте в Доме искусств РАБИС. Мнение человека, прятвшего свои хорошие глаза за толстыми стеклами пенсне. Этот человек был легендой Одессы, покровителем и учителем всех музыкально одаренных ее детей. Выдающийся педагог века, возраставший Давид Ойстрах, Михаила Фихтенгольца, Елизавету Гилельс, Самуила Фурера, Бориса Гольдштейна. Меня интересовало мнение Петра Соломоновича Столярского. Фактически для этого одного человека я и организовал в Доме искусств РАБИС этот концерт.

По окончании концерта Столярский обратился к зрителям:

— Ну вот, друзья! Мы часто говорили: а где же вторая Иза Кремер? — Где второй Александр Вертинский? Я думаю, что не ошибусь, если выражу наше общее мнение и скажу, что появилась первая Клавдия Шульженко.

...«В искусстве эстрадной песни легко приходит на память творчество Эдит Пиаф. Кстати, имя французской певицы нередко ставится рядом с именем Клавдии Шульженко. Тем не менее каждая из них неповторима. Самобытна. Личность», — так пишет И. Василлина в своей книге «Клавдия Шульженко». И, всей душой принимая эту оценку двух певиц века, я думаю о том, что перед их именами можно было бы с полным правом поставить короткое слово ELLE (ОНА!) — так именовалась в афишах Сара Бернар! И, ей-богу, это не хуже наших растрепанных сегодня званий заслуженный или народный.

Владимир КОРАЛЛИ.

Гонорар за эту публикацию автор просит перечислить на расчетный счет 700603 Свердловского отделения Жилсоцбанка СГД РСФСР на восстановление Дома актера.

● Клавдия Шульженко. 1930 г. Фото Б. Фабисовича.